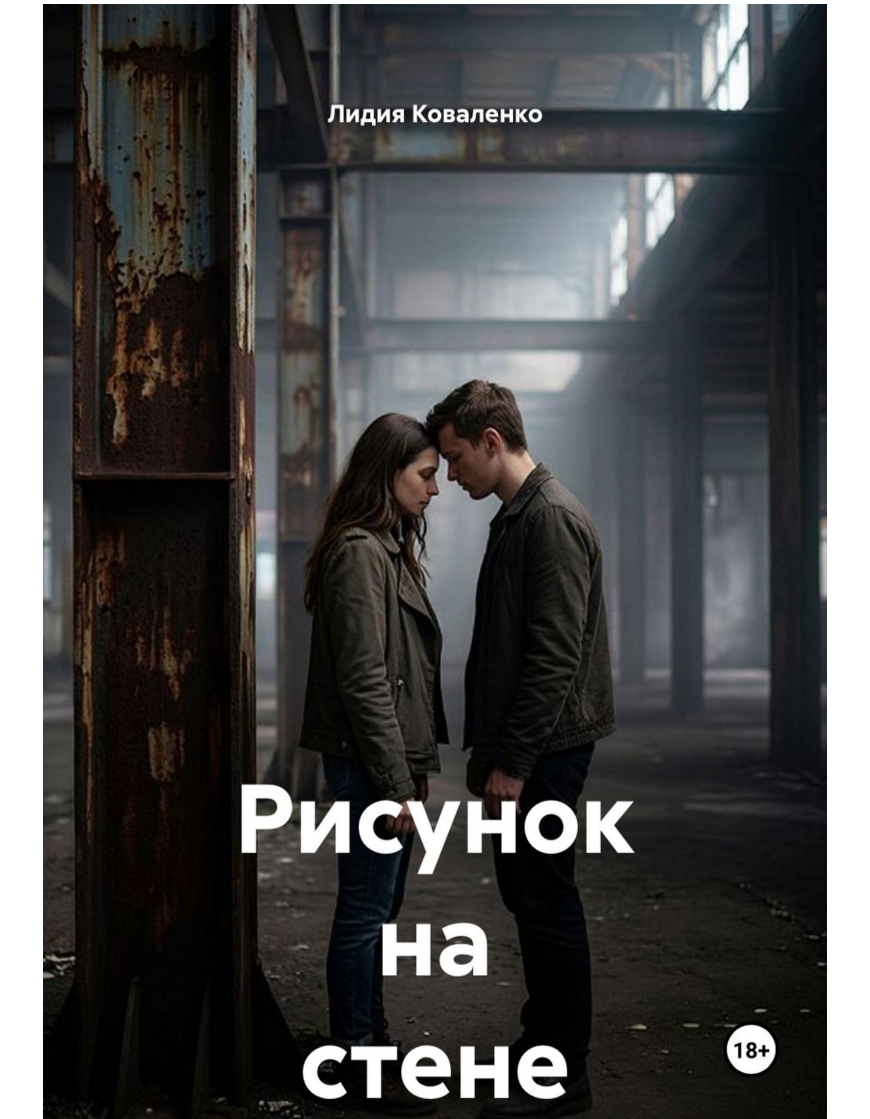


A man and a woman are standing in a dark, industrial environment, possibly a warehouse or a factory. They are facing each other, with their heads tilted down and touching, suggesting a moment of intimacy or connection. The background is filled with large, rusted metal beams and structures, creating a gritty and atmospheric setting. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows.

Лидия Коваленко

Рисунок на стене

18+

Лидия Коваленко

Рисунок на стене

<https://litres.ru/74521764>

SelfPub; 2026

Аннотация

В заброшенной промзоне среди ржавых балок и облупившихся стен рождается хрупкий союз: уличный художник Марк и фотограф Лея учатся видеть друг в друге не слабость, а силу. Марк рисует, чтобы сохранить память о матери и не раствориться в чужих приказах — но его талант давно стал разменной монетой в руках Дэна, который держит парня на крючке старых долгов. Лея ловит на плёнку мгновения, в которых люди остаются собой, и теперь готова защищать не только свои кадры, но и Марка. Когда Дэн ставит ультиматум, их связь проходит первую серьёзную проверку: под ударом оказывается не только свобода Марка, но и безопасность Леи. Их бунт — не громкий и не героический: это тихий выбор не сдаваться, даже когда город давит со всех сторон. Смогут ли они отстоять право творить и любить по своим правилам — или система окажется сильнее?

Лидия Коваленко

Рисунок на стене

Глава 1. Случайный кадр

Лея не должна была здесь оказаться. Не сегодня, не в этом районе, не в одиночку — отец повторял это каждое утро, каждое вечер, при каждом удобном и неудобном случае, пока слова не превратились в белый шум, от которого болела голова.

Она всё равно пошла.

Промзона на южной окраине города выглядела как челюсть с выбитыми зубами: ряд заброшенных корпусов, обнесённых ржавым забором, с вышибленными стёклами и граффити на стенах — не аккуратными, городскими, а злыми, торопливыми, будто каждый, кто их рисовал, спешил убежать. Пахло мокрым бетоном, горелым пластиком и чем-то кислым, что Лея не хотела определять.

Она забралась через дыру в заборе, порвав куртку о край арматуры. Руки были в ржавчине, но она не обратила внимания — давно привыкла к мелким повреждениям. Куда страшнее были те, которые нельзя заштопать.

Бабушкин фотоаппарат болтался на шее, тяжёлый и неуклюжий, как чужой протез. «Зенит-Е» 1973 года, плёночный, с ручной фокусировкой — папа называл его «инвалидным реликтом» и каждый раз предлагал купить нормальную цифровую мыльницу. Лея отказывалась. На плёнке нельзя стереть, нельзя переделать — каждый кадр необратим, как поступок. Ей нравилось в этом жить.

Она прошла вдоль первого корпуса, ища точку для съёмки — что-то для своей серии «Города без людей», которую она делала только для себя, не для школьного проекта, не для показа, — когда услышала шипение.

Не змеиное, не газовое — баллончикное.

Лея замерла и медленно заглянула за угол.

Парень стоял спиной к ней, на три метра выше, на полусгнившей лестничной площадке открытого этажа. Силуэт вырисовывался в свете единственного работающего фонаря: широкие плечи, узкая талия, руки в движении — быстрые, уверенные, будто он дирижировал оркестром, который слышал только он. Тёмные волосы падали на лоб, и он то и дело откидывал их резким рывком головы — жест, который выглядел скорее нервным, чем привычным.

На его левом плече и предплечье — татуировка. Даже в тусклом свете Лея разглядела контуры: не надпись, не рисунок из каталога — вихрь, пламя, что-то органическое, будто кожа сама решила загореться изнутри. Линии были неровными, местами — грубыми, и Лея подумала: это не работа профессионала. Это чья-то собственная, сделанная своими руками. Больно и навсегда.

Она подняла камеру. Пальцы нашли кольцо фокусировки автоматически — тело помнило то, что голова забыла в эту секунду. Она вдохнула, задержала дыхание, нажала на затвор.

Щелчок.

Парень резко обернулся.

Его лицо Лея увидела как вспышку: острое, худое, с тенью под глазами, которая была не от света, а от бессонницы. Губы сжаты, челюсть напряжена. Он смотрел на неё так, будто она была не человеком, а угрозой — чем-то, что нужно оценить и, в зависимости от оценки, уничтожить или проигнорировать.

— Ты кто? — голос низкий, хриплый, как у человека, ко-

торый кричал слишком долго и слишком часто.

— Я... — Лея сглотнула. Горло было сухим. — Я просто проходила мимо.

— Здесь не проходят мимо. Здесь либо рисуют, либо барыжат. Ты что, барыжишь?

— Нет! Я фотографирую. Для себя.

— Для себя, — повторил он с интонацией, которая превратила фразу в обвинение. Он спустился на две ступеньки, и Лея увидела, что в правой руке у него баллончик, а левая — сжата в кулак так, что побелели костяшки. На костяшках — свежие ссадины. — Покажи камеру.

Лея замерла. Инстинкт говорил: беги. Но что-то другое — не любопытство, скорее упрямство — заставило её стоять на месте.

— Нет, — тихо сказала она и прижала «Зенит» к груди. — Это мой.

— И что ты сняла?

— Тебя.

— Зачем?

Лея помолчала. Честный ответ был странным и неудобным, но она не умела врать, особенно тем, кто и так не поверит.

— Потому что ты выглядел как человек, которому есть что сказать, но некому. И мне... мне показалось, что я это

понимаю.

Парень остановился. Ссадины на его костяшках блеснули в тусклом свете — свежие, не до конца запёкшиеся. Он посмотрел на неё — не оценивающе, как раньше, а будто увидел что-то, чего не ожидал увидеть.

— Ты странная, — сказал он. Не зло. Просто как факт.

— Мне и не такое говорили, — Лея попыталась улыбнуться, но улыбка вышла кривой, и она это знала.

— Баллончик тебе в руки не дам, фоткать — ещё можно. Но если снимок всплывёт где-нибудь — я тебя найду.

— Не всплывёт. Я печатаю сама, в тёмной комнате. И никуда не выкладываю.

— Совсем?

— Совсем.

Он хмыкнул. Потом развернулся, снова поднялся на площадку и продолжил рисовать. Лея стояла внизу, смотрела вверх и чувствовала, как внутри — там, где последние месяцы было только пусто и серо — что-то шевельнулось. Не радость, не предвкушение — скорее, узнавание. Как будто она нашла человека, говорящего на языке, который она думала, что знает только она.

— Как тебя зовут? — крикнула она, когда он сделал паузу.

— Марк, — ответил он, не оборачиваясь. — А тебя?

— Лея.

— Лея, — повторил он, и её имя прозвучало в его голосе как-то иначе, чем она привыкла. Не как у учителей, которые путали её с Алиной. Не как у отца, который произносил его с тяжестью вины. А просто — как имя. — Не уходи пока. Мне нужен кто-то, кто скажет, не криво ли слева.

Лея поднялась по лестнице. Ступеньки скрипели и прогибались, но она не остановилась — ни на середине, ни на последней. Когда она встала рядом с Марком и посмотрела на стену, у неё перехватило дыхание.

На бетоне, из-под слоёв грязи и старой краски, проступало изображение: не слово, не тег, не подпись — лицо. Женское лицо, наполовину скрытое потеками краски, будто оно emerging из самой стены, из самого здания. Глаза были открыты, и в них было что-то — не боль, не страх, а усталость того, кто ждёт слишком долго.

— Кто это? — спросила Лея, и голос её дрогнул.

— Мама, — сказал Марк. — Была.

Лея не спросила, что значит «была». Она просто подняла камеру и нажала на затвор.

Глава 2. Проявка

Они просидели на бетонном полу ещё часа полтора. Марк рисовал, Лея смотрела — иногда давала короткие замечания, которые он принимал без спора, просто кивая, будто давно ждал человека, способного сказать «левый глаз выше» вместо «круто, братан». Баллончики лежали между ними в картонной коробке без надписи — двенадцать штук, разной степени пустоты, и Марк брал каждый с придыханием, как хирург берёт инструмент.

Лея не спрашивала, где он их берёт. Не спрашивала, сколько ему лет — по голосу восемнадцать, по рукам двадцать пять, по глазам непонятно. Она уже поняла: Марк не из тех, кто отвечает на вопросы. Он из тех, кто отвечает на тишину.

К полуночи лицо на стене было почти готово. Марк отступил на два шага, присел на корточки и долго смотрел, прикусив нижнюю губу. Краска на стене была ещё влажной, блестящей, и в свете фонаря казалось, что женщина дышит.

— Криво? — спросил он, не оборачиваясь. — Нет, — сказала Лея. — Нет, Марк. Совсем нет.

Он повернул голову. Посмотрел на неё снизу вверх, и в

его взгляде мелькнуло что-то, чего она не ожидала: благодарность — не за комплимент, а за то, что она осталась. Что не ушла, когда можно было. Что не испугалась, когда стоило.

— Ты замёрзла, — сказал он. Это прозвучало как констатация диагноза. — Немного. — У меня есть чай. В термкружке. Остыл уже, но горячий был.

Он протянул ей кружку — жестяную, ободранную, с остатками наклейки «Worlds Best Mom», которую кто-то когда-то пытался оторвать, но не до конца. Буквы проглядывали из-под царапин, как родинки под тональным кремом. Лея отпила. Чай был горький, недоваренный, с привкусом железа — то ли от кружки, то ли от воды, то ли от всего этого места. Она допила до дна.

— У тебя есть телефон? — спросил Марк. — Есть. Но я не... — Я не прошу номер. Я прошу время. Когда тебя не будет два дня — я пойду посмотреть, не случилось ли чего. Мне нужно знать, когда не случилось, а когда просто нет.

Лея достала телефон — старый, с треснувшим экраном, который отец отказался менять, потому что «работает же». Набрала номер Марка. Он взял трубку, не сохранив — просто посмотрел на экран, кивнул и убрал телефон в карман куртки, которая лежала на перилах.

— Я прихожу сюда по субботам, — сказал он. — После шести. Иногда раньше, иногда позже. Иногда не прихожу. Но ты можешь приходить всегда.

«Всегда» прозвучало не как обещание. Как разрешение — редкое, осторожное, выданное тому, кто не просил, но кому оно было нужно больше, чем он сам знал.

Лея вернулась домой в начале второго. Отец не спал — сидел на кухне в старой армейской футболке, с кружкой, в которой давно остыл чай, и телефоном в руке, экран которого говорил: 23:14, последнее сообщение «Лея, где ты???» , отправленное в 21:47. Без ответа.

— Где ты была? — спросил он. Голос был ровный, и это было хуже крика. Крик — это страх, а ровность — это решение. — Фотографировала. — Где? — На южной. Промзона. Отец поставил кружку на стол. Звук был тихий, но Лея вздрогнула — она знала этот жест. За ним шло: «Я же говорил», «Ты же обещала», «Тебе шестнадцать лет, Лея, ты не понимаешь». Она знала все реплики наизусть, могла бы продолжить без него. — Лея. — Пап, я в порядке. Я целая. Я просто ходила снимать. — В промзоне. Ночью. Одна. — Я не одна была.

Это вырвалось раньше, чем она успела остановить. Отец поднял глаза — медленно, будто готовился к тому, что увидит.

— С кем?

Лея сглотнула. Врать она не умела, а молчать было хуже лжи — молчание отец считывал как катастрофу.

— С парнем. Он там рисует. Я снимала.

Отец встал. Стул скрипнул по полу — тем же звуком, что половицы в бабушкином доме, и Лея на секунду перенеслась туда, в детство, в запах яблочного варенья и папиной формы, ещё когда он был другим — до мамы, до всего.

— Какого парня? — Марк. Он... рисует граффити. На стенах. — И ты пошла с незнакомым парнем в промзону ночью, потому что он рисует граффити.

Это была не вопрос. Это была огранка её поступка, обречённая до абсурда, чтобы она увидела, как это выглядит снаружи. Лея стиснула зубы. Она знала, что снаружи это выглядит безумием. Но снаружи не видели лицо на стене — лицо женщины, которая «была». Снаружи не слышали, как Марк сказал «не уходи пока» — не «оставайся», а «не уходи по-

ка», будто каждая минута была одолжением, которое он не решался просить.

— Он не делал ничего плохого, — сказала Лея. — Ещё не делал. Лея, я не могу...

— Я знаю. Ты не можешь не бояться. Я знаю.

Она прошла мимо него в коридор, и он не остановил её — не потому что не хотел, а потому что знал: если начнёт говорить, скажет то, что они оба не смогут забрать обратно. Лея закрыла дверь своей комнаты, села на кровать, прижала «Зенит» к животу и закрыла глаза.

В камере было тридцать шесть кадров. Двадцать четыре — отсняты до сегодняшнего дня: заброшенный цех, брошенная коляска, лестница в никуда, окно, в котором отражалось небо, — всё нежилое, всё без людей. Тридцать пятый — Марк, спиной, в движении. Тридцать шестой — лицо на стене, мокрая краска, открытые глаза.

Два кадра из тридцати шести — с живым. Два кадра, на которых кто-то дышал.

Лея положила камеру на тумбочку, легла, не раздеваясь, и долго смотрела в потолок. Где-то за стеной тикали часы —

бабушкины, с кукушкой, которая давно сломалась и теперь просто молотила по деревяшке, не высовываясь. Лея слушала и думала о том, что кукушка, наверное, единственная, кто понимает Марка: стучать, не появляясь. Говорить, не называясь.

Она уснула с этой мыслью, и впервые за долгое время ей не снилось ничего серого.

Глава 3. Тёмная комната

Лея знала, что проявлять плёнку в ванной — плохая идея. Отец мог зайти за зубной пастой, уронить полотенце, щёлкнуть выключателем — и всё, тридцать шесть кадров превратятся в чёрную пустоту. Но у неё не было другого места. Тёмной комнаты, как у настоящих фотографов, у неё не было. Только ванная, занавешенная плотным пледом, и красный фонарь, который бабушка когда-то купила «на всякий случай» и который теперь стал её единственным союзником.

Она работала быстро, почти на ощупь, но пальцы помнили порядок: проявитель, стоп-ванна, фиксаж. Капли падали в лотки с тихим, почти интимным звуком, будто сама комната шептала ей: «Не торопись».

На стене, в красном свете, плясали тени. Лея повесила

первый кадр сушиться на верёвку для полотенец. Потом второй. Третий.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.